

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

**Приключение с  
Крамольниковым**



**Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин**  
**Приключение с**  
**Крамольниковым**

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=319012](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=319012)*

# Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Приключение с Крамольниковым *Сказка-элегия*

\* \* \*

Однажды утром, проснувшись, Крамольников совершенно явственно ощутил, что его нет. Еще вчера он признавал себя сущим; сегодня вчерашнее бытие каким-то волшебством превратилось в небытие. Но это небытие было совершенно особого рода. Крамольников торопливо ощупал себя, потом произнес вслух несколько слов, наконец посмотрелся в зеркало; оказалось, что он – тут, налицо, и что в качестве ревизской души он существует в том же самом виде, как вчера. Мало того: он попробовал мыслить – оказалось, что и мыслить он может... И за всем тем для него не подлежало сомнению, что его нет. Нет того не-ревизского Крамольникова, каким он признавал себя накануне. Как будто бы перед ним захлопнулась какая-то дверь или завалило впереди дорогу,

и ему некуда и незачем идти.

Переходя от одного предположения к другому и в то же время с любопытством всматриваясь в окружающую обстановку, он взглянул мимоходом на лежавшую на письменном столе начатую литературную работу, и вдруг все его существо словно электрическая струя пронизала...

Не нужно! не нужно! не нужно!

\* \* \*

Сначала он подумал: «Какой вздор!» – и взялся за перо. Но когда он хотел продолжать начатую работу, то сразу убедился, что, действительно, ему предстоит провести черту и под нею написать: Не нужно!!

Он понял, что все оставалось по-прежнему, – только душа у него запечатана. Отныне он волен производить свойственные ревизской душе отправления; волен, пожалуй, мыслить; но все это ни к чему. У него отнято главное, что составляло основу и сущность его жизни: отнята та лучшая сила, которая давала ему возможность огнем своего сердца зажигать сердца других.

Он стоял изумленный; смотрел и не видел; искал и не находил. Что-то бесконечно мучительное жгло его внутренности... А в воздухе между тем носился нелепо-озорной шепот: «Поймали, расчухали, уличили!»

– Что такое? что такое случилось?

Положительно, душа его была запечатана. Как у всякого убежденного и верящего человека, у Крамольникова был внутренний храм, в котором хранилось сокровище его души. Он не прятал этого сокровища, не считал его своею исключительною собственностью, но расточал его. В этом, по его мнению, замыкался весь смысл человеческой жизни. Без этой деятельной силы, которая, наделяя человека потребностью источать из себя свет и добро, в то же время делает его способным воспринимать свет и добро от других, – человеческое общество уподобилось бы кладбищу. Это было бы не общество, а склад трупов... И вот теперь трупный период для него наступил. Обмену света и добра пришел конец. И сам он, Крамольников, – труп, и те, к которым он так недавно обращался, как к источнику живой воды для своей деятельности, – тоже трупы... Никогда, даже в воображении, не представлял он себе несчастья столь глубокого.

Крамольников был коренной пошехонский литератор, у которого не было никакой иной привязанности, кроме читателя, никакой иной радости, кроме общения с читателем. Читатель не олицетворялся для него в какой-нибудь материальной форме и тем не менее всегда предстоял перед ним. В этой привязанности к отвлеченной личности было что-то исключительное, до болезненности страстное. Целые десятки лет она одна питала его и с каждым годом делалась все больше и больше настоятельною. Наконец пришла старость, и все блага жизни, кроме одного, высшего и существеннейшего,

окончательно сделались для него безразличными, ненужными...

И вдруг, в эту минуту, – рухнуло и последнее благо. Разверзлась темная пропасть и поглотила то «единственное», которое давало жизни смысл...

В литературном цехе такие, направленные исключительно в одну сторону, личности по временам встречаются. Смолodu так односторонне слагается их жизнь, что какие бы случайности ни сталкивали их с фаталистически обозначенной колеи, уклонение никогда не бывает ни серьезно, ни продолжительно. Под горами наносного хлама продолжает течь настоящая жильная струя. Все разнообразие жизни представляется фиктивным; весь интерес ее сосредоточивается в одной светящей точке. Никогда они не дают себе отчета в том, какого рода случайности ждут на пути, никогда не предусматривают, не стараются обеспечить тыл, не предпринимают разведок, не справляются с бывшими примерами. Не потому, чтобы проходящие перед ними явления и зависимость их от этих явлений были для них неясны, а потому, что никакие предвидения, никакие справки – ни на йоту не могут видоизменить те функции, прекращение которых было бы равносильно прекращению бытия. Нужно убить человека, чтобы эти функции прекратились.

Неужели именно это убийство и совершилось теперь, в эту загадочную минуту? Что такое случилось?

Тщетно искал он ответа на этот вопрос. Он понимал толь-

ко одно, что его со всех сторон обступает зияющая пустота. Крамольников горячо и страстно был предан своей стране и отлично знал как прошедшее, так и настоящее ее. Но это знание повлияло на него совершенно особенным образом: оно было живым источником болей, которые, непрерывно возобновляясь, сделались наконец главным содержанием его жизни, дали направление и окраску всей его деятельности. И он не только не старался утишить эти боли, а напротив, работал над ними и оживлял их в своем сердце. Живость боли и непрерывное ее ощущение служили источником живых образов, при посредстве которых боль передавалась в сознание других.

Знал он, что пошехонская страна исстари славилась непостоянством и неустойчивостью, что самая природа ее какая-то не заслуживающая доверия. Реки расплзлись вширь, и что ни год, то меняют русло, пестрея песчаными перекатами. Атмосферические явления поражают внезапностью, похожею на волшебство: сегодня – жара, хоть рубашку выжми, завтра – та же рубашка колом стоит на обывательской спине. Лето короткое, растительность бедная, болота неоглядные... Словом сказать – самая неспособная, предательская природа, такая, что никаких дел загадывать вперед не приходится.

Но еще более непостоянны в Пошехонье судьбы человеческие. Смерд говорит: «От сумы да от тюрьмы не открестишься»; посадский человек говорит: «Барыши наши на воде вилами писаны»; боярин говорит: «У меня вчера уши вы-

ше лба росли, а сегодня я их вовсе сыскать не могу». Нет связи между вчерашним и завтрашним днем! Бродит человек словно по Чуровой долине: пронесет бог – пан, не пронесет – пропал.

Какая может быть речь о совести, когда все кругом изменяет, предательствует? На что обопрется совесть? на чем она воспитается?

Знал все это Крамольников, но, повторяю, это знание оживляло боли его сердца и служило отправным пунктом его деятельности. Повторяю: он глубоко любил свою страну, любил ее бедноту, наготу, ее злосчастье. Быть может, он усматривал впереди чудо, которое уймет снедавшую его скорбь.

Он верил в чудеса и ждал их. Воспитанный на лоне волшебств, он незаметно для самого себя подчинился действию волшебства и признал его решающим фактором пошехонской жизни. В какую сторону направит волшебство свое действие? – в этом весь вопрос... К тому же и в прошлом не все была тьма. По временам мрак редел, и в течение коротких просветов пошехонцы несомненно чувствовали себя бодрее. Это свойство расцветать и ободряться под лучами солнца, как бы ни были они слабы, доказывает, что для всех вообще людей свет представляет нечто желанное. Надо поддерживать в них эту инстинктивную жажду света, надо напоминать, что жизнь есть радование, а не бессрочное страдание, от которого может спасти лишь смерть. Не смерть должна разрешить узы, а восстановленный человеческий образ,



просветленный и очищенный от тех посрамлений, которые наслоили на нем века подъяремной неволи. Истина эта так естественно вытекает из всех определений человеческого существа, что нельзя допустить даже минутного сомнения относительно ее грядущего торжества. Крамольников верил в это торжество и всего себя отдал напоминаниям об нем.

Все силы своего ума и сердца он посвятил на то, чтобы восстанавливать в душах своих присных представление о свете и правде и поддерживать в их сердцах веру, что свет придет и мрак его не обнимет. В этом, собственно, заключалась задача всей его деятельности.

Действительно, волшебство не замедлило вступить в свои права. Но не то благотворное волшебство, о котором он мечтал, а заурядное, жестокое пошехонское волшебство.

– Не нужно! не нужно! не нужно!

К чести Крамольникова должно сказать, что он ни разу не задался вопросом: за что? Он понимал, что, при полном отсутствии винословности, подобного рода вопрос не только неуместен, но прямо свидетельствует о слабодушии вопрошающего. Он даже не отрицал нормальности настигшего его факта, – он только находил, что нормальность в настоящем случае заявила себя чересчур уже жестоко и резко. Не раз приходилось ему, в течение долгого литературного пути, играть роль *anima vilis* перед лицом волшебства, но, до сих пор, последнее хоть душу его оставляло нетронутую. Теперь оно эту душу отняло, скомкало и запечатало, и как ни привыч-

ны были Крамольникову капризы волшебства, но на этот раз он почувствовал себя изумленным. Весь он был словно расшиблен, везде, во всем существе, ощущал жгучую и совсем новую боль.

И вдруг он вспомнил о «читателе». До сих пор он отдавал читателю все силы вполне беззаветно; теперь в его сердце впервые шевельнулось смутное чаянье отклика, сочувствия, помощи...

И его инстинктивно потянуло на улицу, как будто там его ожидало какое-то разъяснение.

Улица имела обыкновенный пошехонский вид. Крамольникову показалось, что перед глазами его расстилается немое, слепое и глухое пространство. Только камни вопияли. Люди сновали взад и вперед осторожно и озираясь, точно шли воровать. Только эта струна и была живая. Все прочее было проникнуто изумлением, почти осто́лбенением. Однако ж Крамольникову сторяча показалось, что даже эта немая улица нечто знает. Ему этого так страстно хотелось, что он вопль камней принял за вопль людей. Тем не менее отчасти он не ошибался. Действительно, там и сям раздавалось развязное гуденье. То было гуденье либералов, недавних друзей его. Одних он обгонял, другие шли навстречу. Но увы! никакого оттенка участия не виделось на их лицах. Напротив, на них уже успела лечь тень отступничества.

– Однако! похоронили-таки вас, голубчик! живо! – сказал один, – строгонько, сударь, строгонько! Ну, да ведь тоже и

вы... нельзя этого, мой друг; я вам давно говорил, что нельзя! Терпели вас, терпели, – ну, наконец...

– Но что же такое «наконец»?

– Да просто «наконец» – и все тут! скучно стало. Нынче не разговаривать нужно, а взирать и, буде можно, – усматривать. Вам, сударь, следовало самому заранее догадаться; а ежели вам претило присоединиться от полноты души, – ну, так хоть слегка бы: «Разбирайте, мол, каков я там... внутри! А то все сплеча! все сплеча! Ну, и надоело. – Я и сам – разве, вы думаете, мне сладко? Не со вчерашнего дня, чай, меня знаете! Однако и я поразмыслил да посоветовался с добрыми людьми... Господи, благослови... Бух!

Другой сказал:

– Да, любезный друг, жаль вас, очень жаль! Приятно было почитать. Улыбнешься, вздохнешь, а иногда и дельное что-нибудь отыщешь... Даже приятелям, бывало, спешишь сообщить. В канцеляриях цитировали. У меня был знакомый, который наизусть многое знал. Но, с другой стороны, есть всему и предел. Настали времена, когда понадобилось другое; вы должны были понять это, а не дожидаться, пока вас прихлопнут. Что такое это „другое“ – выяснится потом, но не теперь... Вот я, вслед за другими, смотрел-смотрел, да и я говорю жене: „Надо же!“ Ну, и она говорит: „Надо!“ Я и решил.

– На что же вы решились? – Да просто – идти общим торным путем. Не заглядываясь по сторонам, не паря ввысь, не

думая о широких задачах... Помаленьку да полегоньку. Оно скучненько и серенько, положим, но ведь, с одной стороны, блистать-то нам не по плечу, а с другой стороны – семейство. Жена принарядиться любит, повеселиться... Сам тоже: имеешь положение в свете, связи, знакомства; видишь, как другие вперед да вперед идут, – неужто же все потерять? Вы думаете, я так-таки навсегда... нет, я тоже с оговорочкой. Придут когда-нибудь и лучшие времена... Вот, например, ежели Николай Семеныч... Кормил-то, батюшка, нынче... Сегодня Иван Михайлыч, а завтра Николай Семеныч... Ну, тогда и опять...

– Да ведь Николай-то Семеныч – вор!

– Вор! Ах, как вы жестоко выражаетесь!

Наконец третий просто напрямки крикнул на него:

– И за дело! Будет с вас! Вы, сударь, не только себя, но и других компрометируете – вот что! Я из-за вас вчера объяснение имел, а нынче и не знаю, есмь я или не есмь! А какое вы имеете право, позвольте вас спросить? „В приятельских отношениях с господином Крамольниковым, говорит, а посему...“ Я – туда-сюда. „Какие же, говорю, это приятельские отношения, вашество? так, буффон – отчего же после трудов и не посмеяться!“ Ну, дали покамест двадцать четыре часа на размышление, а там что будет. А у меня между тем семья, жена, дети... да и сам я в поле не обсевок... Можно ли было этого ожидать? Повторяю: какое вы имеете право? ах-ах-ах!

Крамольников не счел нужным продолжать беседу и по-

шел дальше. Но так как на пути его стоял дом, в котором жил давний его однокашник, то он и зашел к нему, думая хоть тут отвести душу.

Лакей принял его радушно; по-видимому, он ничего еще не знал. Он сказал, что Дмитрия Николаича нет дома, а Аглая Алексеевна в гостиной. Крамольников отворил дверь, но едва переступил порог гостиной, как сидевшая в ней дама взвизгнула и убежала. Крамольников отретировался.

Наконец он вспомнил, что на Песках живет старый его сослуживец (Крамольников лет пятнадцать назад тоже служил в департаменте Грешных Помышлений), Яков Ильич Воробушкин. Человек этот был большой почитатель Крамольникова и служил неудачно. С лишком десять лет тянул он ляжку столоначальника, не имея в перспективе никакого повышения и при каждой перемене веяния дрожа за свое столоначальничество. Робкий и неискательный от природы, он и на частной службе приютиться не мог. Как-то с самого начала он устроил себя так, что ему самому казалось странным чего-нибудь искать, подавать записки об уничтожении и устранении, слоняться по передним и лестницам и т. д. Раз только он подал записку о необходимости ободрить нищих духом; но директор, прочитав ее, только погрозил ему пальцем, и с тех пор Воробушкин замолчал. В последнее время, однако ж, он начал смутно надеяться, стал ходить в ту самую церковь, куда ходил его начальник, так что последний однажды подарил ему половину задравной просфоры (доныш-

ко) и сказал: „Очень рад!“ Таким образом, дело его было уже на мази, как вдруг...

Крамольникову отворила дверь старая нянька, сзади которой, из внутренних дверей, выглядывали испуганные лица детей. Нянька была сердита, потому что неожиданный посетитель помешал ей ловить блох. Она напрямки отрезала Крамольникову:

– Нет Якова Ильича дома; его из-за вас к начальнику позвали, и жив он теперь или нет – неизвестно; а барыня в церкву молиться ушли.

Крамольников стал спускаться по лестнице, но едва сделал несколько шагов, как встретил самого Воробушкина.

– Крамольников! простите меня, но я не могу поддерживать наши старые отношения! – сказал Воробушкин взволнованным голосом. – На этот раз, впрочем, я, кажется, оправдался, но и то наверное поручиться не могу. Директор так и сказал: „На вас неизгладимое пятно!“ А у меня жена, дети! Оставьте меня, Крамольников! Простите, что я такой малодушный, но я не могу...

Крамольников воротился домой удрученный, почти испуганный.

Что отныне он был осужден на одиночество – это он сознавал. Не потому он был одинок, что у него не было читателя, который ценил, а быть может, и любил его, а потому, что он утратил всякое общение с своим читателем. Этот читатель был далеко и разорвать связывающие его узы не мог.

Напротив, был другой читатель, ближний, который во всякое время имел возможность зажалить Крамольникова до смерти. Этот остался налицо и нагло выражал, что самая немота Крамольникова ему ненавистна.

Смутно проносилось в его уме, что во всех отступничествах, которых он был свидетелем, кроется не одно личное предательство, а целый подавляющий порядок вещей. Что все эти вчерашние свободные мыслители, которые еще недавно так дружелюбно жали ему руки, а сегодня чураются его, как чумы, делают это не только страха ради иудейска, но потому, что их придавило.

Их придавила жажда жизни; а так как жажда эта вполне законна и естественна, то Крамольникову становилось страшно при этой мысли. „Неужто, – спрашивал он себя, – для того, чтобы удержать за собой право на существование, нужно пройти сквозь позорное и жестокое иго? Неужто в этом загадочном мире только то естественно, что идет вразрез с самыми заветными и дорогими стремлениями души?“

Или опять: почти всякий из недавних его собеседников ссылался на семью; один говорил: „Жена принарядиться любит“; другой: „Жена“ – и больше ничего... Но особенно тяжело выходило это у Воробушкина. Семья ему душу рвала. Вероятно, он лишал себя всего, плохо ел, плохо спал, добывал на стороне работишку – все ради семьи. И, за всем тем, добывал так мало, что только самоотверженность Лукерьи Васильевны (жены Воробушкина) помогала переносить эту нуж-

ду. И вот, ради этого малого, ради нищенской подачки...

Что же это такое? Что такое семья? Как устроиться с семейным началом? Как сделать, чтобы оно не было для человека египетской язвой, не тянуло его во все стороны, не мешало быть гражданином?

Крамольников думал-думал, и вдруг словно кольнуло его. „Отчего же, – говорил ему внутренний голос, – эти жгучие вопросы не представлялись тебе так назойливо прежде, как представляются теперь? Не оттого ли, что ты был прежде раб, сознававший за собой какую-то мнимую силу, а теперь ты раб бессильный, придавленный? Отчего ты не шел прямо и не самоотвергался? Отчего ты подчинял себя какой-то профессии, которая давала тебе положение, связи, друзей, а не спешил туда, откуда раздавались стоны? Отчего ты не становился лицом к лицу с этими стонами, а волновался ими только отвлеченно?

Из-под пера твоего лился протест, но ты облекал его в такую форму, которая делала его мертворожденным. Все, против чего ты протестовал, – все это и поныне стоит в том же виде, как и до твоего протеста.

Твой труд был бесплоден. Это был труд адвоката, у которого язык измотался среди опутывающих его лжей. Ты протестовал, но не указал ни того, что нужно делать, ни того, как люди шли вглубь и погибали, а ты слал им вслед свое сочувствие. Но это было пленное раздражение мысли, – раздражение, положим, доброе, но все-таки только раздражение. Ты



даже тех людей, которые сегодня так нагло отвернулись от тебя, – ты и их не сумел понять. Ты думал, что вчера они были иными, нежели сегодня.

Правда, ты не способен идти следом за этими людьми; ты не способен изменить тем добрым раздражениям, которые с молодых ногтей вошли тебе в плоть и кровь. Это, конечно, зачтется тебе... где и когда? Но теперь, когда тебя со всех сторон обступила старость, с ее недугами, рассуди сам, что тебе предстоит?..“

### **Post scriptum от автора.**

Само собой разумеется, что все написанное выше – не больше как сказка. Никакого Крамольникова нет и не было; отступники же и переметные сумы водились во всякое время, а не только в данную минуту. А так как и во всем остальном все обстоит благополучно, то не для чего было и огород городить, в чем автор и кается чистосердечно перед читателями.